

Василий Розанов

ОПАВШИЕ
ЛИСТЬЯ



Санкт-Петербург

УДК 13
ББК 87.3(2)6
Р 64

Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова

ISBN 978-5-389-24479-5

© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®

ОПАВШИЕ
ЛИСТЬЯ



КОРОБ ПЕРВЫЙ

Я думал, что все бессмертно. И пел песни.
Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла.

(три года уже)

* * *

Сильная любовь кого-нибудь одного делает ненужным любовь многих.

Даже не интересно.

* * *

Что́ значит, когда «я умру»?
Освободится квартира на Коломенской, и хозяин сдаст ее новому жильцу.

Еще что́?

Библиографы будут разбирать мои книги.

А я сам?

Сам? — *ничего.*

Бюро получит за похороны 60 руб., и в «марте» эти 60 руб. войдут в «итог». Но там уже все сольется тоже с другими похоронами; ни имени, ни воздыхания.

Какие ужасы!

* * *

Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой ограниченности. Молитва — где «я не могу»; где «я могу» — нет молитвы.

* * *

Общество, *окружающие* убавляют душу, а не прибавляют.

«Прибавляет» только теснейшая и редкая симпатия, «душа в душу» и «один ум». Таковых находишь одну-две за всю жизнь. В них душа расцветает.

И ищи ее. А толпы бегай или осторожно обходи ее.

(за утрен. чаем)

* * *

И бегут, бегут все. Куда? зачем?

— Ты спрашиваешь, зачем мировое volo?¹

Да тут — не volo, а скорее ноги скользят, животы трясутся.

Это скетинг-ринг, а не жизнь.

(на Волково)

* * *

Да. Смерть — *это тоже религия. Другая религия.*

Никогда не приходило на ум.

.....
Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть.

.....
Смерть — конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни «самых законов геометрии».

Да, «смерть» одолевает даже математику. «Дважды два — ноль».

(смотря на небо в саду)

Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд — дают ноль.

Нет, больше: помноженные на *любовь*, на *надежду* — дают ноль.

Кому этот «ноль» нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем?

¹ Хочу (лат.).

Или неужели сказать, что смерть *сильнее* самого Бога. Но ведь тогда не выйдет ли: *она сама — Бог? на Божьем месте?*

Ужасные вопросы.

Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь.

* * *

Смерть «бабушки» (Ал. Андр. Рудневой) изменила ли что-нибудь в моих соотношениях? Нет. Было жалко. Было больно. Было *грустно за нее*. Но я и «со мною» — ничего не переменялось. Тут, пожалуй, еще больше грусти: как смело «со мною» не перемениться, когда умерла она? Значит, она мне *не нужна?* Ужасное подозрение. Значит, вещи, *лица* и имеют соотношение, пока живут, но нет соотношения *в них, так сказать, взятых от подошвы до вершины*, метафизической подошвы и метафизической вершины? Это *одиночество вещей* еще ужаснее.

Итак, мы с мамой умрем, и дети, *погоревав*, останутся жить. В мире ничего не переменится: ужасная перемена *настанет только для нас*. «Конец», «кончено». Это «кончено» не относительно подробностей, но *целого, всего* — ужасно.

Я — *кончен*. Зачем же я *жил*?!!!

* * *

Если бы не любовь «друга» и вся история этой любви, — как обеднела бы моя жизнь и *личность*. Все было бы пустой идеологией интеллигента. И верно, все скоро оборвалось бы.

...о чем писать?

Все написано *давно*.

(Лерм.)

Судьба с «другом» открыла мне бесконечность тем, и все запылало личным интересом.

* * *

Как *самые счастливые* минуты мне припоминаются те, когда я видел (слушал) людей счастливыми. Стаха и Алекс. Пет. П-ва, рассказ «друга» о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей жизни). Из этого я заключаю, что я был рожден *созерцателем*, а не *действителем*.

Я пришел в мир, чтобы *видеть*, а не *совершить*.

* * *

Что́ же я скажу (на т. с.) Богу о том, что Он послал меня увидеть?

Скажу ли, что мир, им сотворенный, прекрасен?

Нет.

Что́ же я скажу?

Б. увидит, что я плачу и молчу, что лицо мое иногда улыбается. Но Он ничего не услышит от меня.

* * *

Я пролетал около тем, но не летел на темы.

Самый полет — вот моя жизнь. Темы — «как во сне».

Одна, другая... много... и все забыл. Забуду к могиле.

На том свете буду без тем.

Бог меня спросит:

— Что же ты сделал?

— Ничего.

* * *

Нужно хорошо «вязать чулок своей жизни» и — не помышлять об остальном. Остальное — в «Судьбе»: и все равно там мы ничего не сделаем, а *свое* («чулок») испортим (через отвлечение внимания).

* * *

Эгоизм — не худ; это — кристалл (твердость, неразрушимость) около «я». И собственно, если бы все «я» были в кристалле, то не было бы хаоса, и, след., «государство» (Левиафан) было бы почти не нужно. Здесь есть $\frac{1}{1000}$ правоты в «анархизме»: не нужно «общего», *κοινων*: и тогда индивидуальное (главная красота человека и истории) вырастет. Нужно бы взглядеться, что́ такое «доисторическое существование народов»: по Дрэперу и таким же, это — «троглодиты», так как не имели «всеобщего обязательного обучения» и их не обьегоривали янки; но по Библии — это был «рай». Стоит же Библия Дрэпера.

(за корректурой)

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

* * *

Проснулся...
Какие-то звуки... И заботливо прохожу в темном еще утре по комнатам.

С востока — светает.

На клеенчатом диванчике, поджав под длинную ночную рубашу голые ножонки, — сидит Вася, закинув голову в утро (окно на восток), с книгой в руках твердит сквозь сон:

И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла.
Ад-ми-рал-тей-ска-я...
Ад-ми-рал-тей-ска-я...
Ад-ми-рал-тей-ска-я...

Не дается слово... такая «Америка»; да и как «игла» на улице?
И он перевирает:

...светла
Адмиралтейская игла,
Адмиралтейская звезда,
Горит восточная звезда.

— Ты что́, Вася?

Перевел на меня умные, всегда у него серьезные глаза. Плоха память, старается, трудно, — потому и серьезен:

— Повторяю урок.
— Так нужно учить:

Адмиралтейская игла.

Это шпиг такой. В несколько саженей длины, т. е. высоты.

— Шпиг? Что́ это??

— Э... крыша. Т. е. на крыше. Все равно. Только надо: игла.
Учи, учи, маленькой.

И — повернулся. По дому — благополучно. В спину мне слышалось:

Ад-ми-рал-тей-ска-я звезда,
Ад-ми-рал-тей-ска-я игла.

* * *

Не литература, а *литературность* ужасна: литературность души, литературность жизни. Тó, что всякое *переживание* переливается в играющее, живое слово, но этим все и кончается, — само *переживание* умерло, нет его. Температура (человека, тела) остыла от слова. Слово не возбуждает, о нет! — оно расхолаживает и останавливает. Говорю об оригинальном и прекрасном слове, а не о слове «так себе». От этого после «золотых эпох» в литературе наступает всегда глубокое разложение всей жизни, ее апатия, вялость, бездарность. Народ делается как сонный, жизнь делается как сонная. Это было и в Риме после Горация, и в Испании после Сервантеса. Но не примеры убедительны, а существенная связь вещей.

Вот почему литературы, в сущности, не нужно: тут прав К. Леонтьев. «Почему, перечисляя славу века, назовут все Гёте и Шиллера, а не назовут Веллингтона и Шварценберга». В самом деле, «почему»? Почему «век Николая» был «веком Пушкина, Лермонтова и Гоголя», а не веком Ермолова, Воронцова и как их еще. Даже не знаем. Мы так избалованы книгами, нет — так завалены книгами, что даже не помним полководцев. Ехидно и дальновидно поэты называли полководцев «Скалозубами» и «Бетрищевыми». Но ведь это же односторонность и вранье. Нужна вовсе не «великая литература», а великая, прекрасная и полезная жизнь. А литература мож. быть и «кой-какая» — «на задворках».

Поэтому нет ли провиденциальности, что здесь «все проваливается»? что — не Грибоедов, а Л. Андреев, не Гоголь — а Бунин и Арцыбашев. Может быть. М. б., мы живем в великом окончании литературы.

* * *

Листья в движении, но никакого шума. Все обрызгано дождем сквозь солнце. И мамочка сказала:

— Посмотри.

Я глядел и думал тó же. Она же думала и сказала:

— Что может быть *чище* природы...

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Она не говорила, но это была ее мысль, которую я продолжал:

— И люди, и жизнь их уже не так чисты, как природа...

Мамочка сказала:

— Как природа невинна. И как поэтому благородна...

(лет восемь назад в саду)

Когда я прочел это мамочке, она сказала:

— Это было года четыре назад.

Это еще было до болезни, но она забыла: тому — лет восемь.

Она прибавила:

— Ты теперь несчастен и потому вспоминаешь о том, когда мы были счастливы.

Прихрамывая, несет полотняные туфли, потому что сапоги я снял и по ошибке поставил торжественно перед собою на перильцах балкона («куда-нибудь»).

И все хромает.

И все помогает.

— Как было нехорошо вчера без тебя. Припадок. Даже лед на голову клала (крайне редкое средство).

* * *

Иду. Иду. Иду. Иду...

И где кончится мой путь — не знаю.

И не интересуюсь. Что-то стихийное и нечеловеческое. Скорее, «несет», а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял.

(окружной суд, об «Уединен.»)

* * *

После книгопечатания любовь стала невозможной.

Какая же любовь «с книгою»?

(собираясь на именины)

* * *

Сказать, что Шперка *теперь совсем нет на свете*, — невозможно. Там, м. б., в платоновском смысле «бессмертие души» — и ошибочно: но для моих друзей оно ни в коем случае не ошибочно.

И не то чтобы «душа Шперка — бессмертна»: а его боро денка рыжая не могла умереть. «Бызов» его (такой приятель был) дожидается у ворот, и сам он на конке — направляется ко мне на Павловскую. Все как было. А «душа» его «бессмертна» ли: и — не знаю, и — не интересуюсь.

Все бессмертно. Вечно и живо. До дырочки на сапоге, которая и не расширяется, и не «заплатывается», с тех пор как была. Это лучше «бессмертия души», которое сухо и отвлеченно.

Я хочу «на тот свет» прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше.

(16 мая 1912 г.)

* * *

Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю *самой души*. Пытая, кажется, нахожу главный источник по крайней мере *холодности* и какого-то безучастия к ним (странно сказать) — в «сословном разделении».

Соловьев если не был аристократ, то все равно был «в славе» (в «излишней славе»). Мне твердо известно, что тут — не зависть («мне все равно»). Но, говоря с Рачинским об *одних мыслях* и будучи *одних взглядов* (на церковн. школу), — я помню, что все им говоримое было мне *чужое*; и то же — с Соловьевым, то же — с Толстым. Я мог ими всеми тремя *любоваться* (и любовался), ценить их деятельность (и ценил), но никогда их *почему-то* не мог любить, не только много, но и ни капельки. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызвала большее движение души, чем их «философия и публицистика» (устно). Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. Во всех трех не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма «давили» (полемика, враги и пр.). Толстой ставит то «3», то «1» Гоголю: приятное самообольщение. Все три вот и были самообольщены: и от этого не хотелось их ни любить, ни с ними «водиться» (зняться). «Ну и успевайте, господа, — мое дело сторона». С детства мне было страшно врождено сострадание: и на этот главный пафос души во всех трех я не находил никакого объекта, никакого для себя «предмета». Как я любил и люблю Страхова,

любил и люблю К. Леонтьева; не говоря о «мелочах жизни», которые люблю безмерно. Почти нашел разгадку: любить можно то, или — того, о ком сердце болит. О всех трех не было никакой причины «душе болеть», и от этого я их не любил.

«Сословное разделение»: я это чувствовал с Рачинским. Всегда было «все равно», что бы он ни говорил; как и о себе я чувствовал, что Рачинскому было «все равно», что *у меня в душе*, и он таким же отдаленным любльем любил мои писания (он их любил, — по-видимому). Тут именно сословная страшная разница; другой мир, «другая кожа», «другая шкура». Но нельзя ничего понять, если припишешь зависти (было бы слишком просто): тут именно *непонимание* в смысле невозможности усвоения. «Весь мир другой: — *его*, и — *мой*». С Рцы (дворянин) мы понимали же друг друга с $1/2$ слова, с намека; но он был беден, как и я, «не нужен в мире», как и я (себя чувствовал). Вот эта «ненужность», «отшвырнутость» от мира ужасно соединяет, и «страшно все сразу становится понятно»; и люди не на словах становятся братья.

* * *

История не есть ли чудовищное *другое* лицо, которое проглатывает людей *себе в пищу*, нисколько не думая о их счастье. Не интересуюсь им?

Не есть ли мы — «я» в «Я»?

Как все страшно и безжалостно устроено.

(в лесу)

* * *

Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да. Но жалость?

Звезды жалеют ли? Мать — жалеет: и да будет она выше звезд.

(в лесу)

* * *

Жалость — в маленьком. Вот почему я люблю маленькое.

(в лесу)

* * *

Писательство есть Рок. Писательство есть *fatum*. Писательство есть несчастье.

(3 мая 1912 г.)

...и, может быть, только от этого писателей нельзя судить страшным судом... *Строгим-то* их все-таки следует судить.

(4 мая 1912 г.)

1 р. 50 к.

— Я тебе, деточка, переложу подушку к ногам. А то от горячей печи голова разболится.

— Хорошо, папа. Но поставь стул (к изголовью).

Поставил.

И, улыбаясь, поднялась и, вынув что-то из-под подушки, бросила на решетку стула серебряный рубль.

— Я буду на него смотреть.

Я уже догадался: «рубль» мамочка дала, чтобы было «терпеливее» лежать.

Больна. 11 или 12 лет.

Варя в саду так и старается. Метлой больше себя сметает по дорожкам и перед балконом листья, бумажки и всякий сор, — чтобы бросить в яму.

— Хорошо, Варя.

Подняла голову. Вся красивая. Волосы как лен. Огромные серые глаза, с прелестью вечного недоумения в них, подпольного проказничества и смелости. И чудный (от работы) румянец на щеках.

13 лет.

Это она зарабатывает свой полтинник. Больная мама говорит мне с кушетки:

— Ну, все-таки и моцион на воздухе.

Трем удовольствие, и всего обошлось в 1 р. 50 к.

Варю Таня (старшая, с нею в одной школе) зовет «белый коняшка» или «белый конек». Она в самом деле похожа на жеребеночка. Вся большая, веселая, энергичная, — и от белых волос и белого цвета кожи ее прозвали «белым конем».

Это когда-то давно-давно, когда все были крошечные и в училища еще ни одна не поступала, — я купил, увидя на окне кондитерской на Знаменской (была Страстная неделя) зверьков из папье-маше. Купил слона, жирафу и зебру. И принес домой, вынул «секретно» из-под пальто и сказал:

— Выбирайте себе по одному, но такого зверя, чтобы он был похож на взявшего.

Они, минуто смотря, схватили:

Толстенькая и добренькая Вера, с милой улыбкой

— слона.

Зебру, — шея дугой и белесоватая щетинка на шее торчит кверху (как у нее стриженные волосы)

— Варя.

А тонкая, с желтовато-блеклыми пятнышками, вся сжатая и стройная жирафа досталась

— Тане.

Все дети были похожи именно на этих животных, — и в кондитерской я оттого и купил их, что меня поразило сходство по типу, по духу.

Еще было давно: я купил мохнатую собачонку, пуделя. И, не говоря ничего дома, положил под подушку Вере, во время вечернего чая. Когда она пошла спать, то я стал около лестницы, отделенной лишь досчатой стеной от их комнаты. Слышу:

— Ай!

— Ай! Ай! Ай!

— Чтó это такое? Чтó это такое?

Я прошел к себе. Не сказал ничего, ни сегодня, ни завтра. И на слова: «Не ты ли положил?» — отвечал что-то грубо и равнодушно. Так она и не узнала, как, что и откуда.

* * *

Толстой был гениален, но не умен. А при всякой гениальности ум все-таки «не мешает».

* * *

Ум, положим, — мецанинишко, а без «третьего элемента» все-таки не проживешь.

Надо ходить в чищенных сапогах; надо, чтобы кто-то сшил платье. «Илья-пророк» все-таки имел милость, и ее сшил какой-нибудь портной.

Самое презрение к уму (мистики), т. е. к мещанину, имеет что-то *на самом конце своем* — мещанское. «Я такой барин» или «пророк», что «не подаю руки этой чуйке». Сказавший или подумавший так *eo ipso*¹ обращается в псевдобарина и лжепророка.

Настоящее *господство над умом* должно быть совершенно глубоким, совершенно в себе запрятанным; это должно быть субъективной тайной. Пусть Спенсер чванится перед Паскалем. Паскаль должен даже время от времени называть Спенсера «вашим превосходительством», — и вообще не подавать никакого вида о настоящей *мере* Спенсера.

* * *

Мож. быть, я расхожусь не с человеком, а только с литературой? Разойтись с человеком страшно. С литературой — ничего особенного.

* * *

Левин верно упрекает меня в «эгоизме». Конечно — это *есть*. И даже именно от этого я и писал (пишу) «Уед.»: писал (пишу) в глубокой тоске как-нибудь разорвать кольцо уединения... Это именно кольцо, надетое с рождения.

Из-за него я и кричу: вот что *здесь*, пусть — *узнают*, если уже невозможно ни увидеть, ни осязать, ни прийти на помощь.

Как утонувший, на дне глубокого колодца, кричал бы людям «там», «на земле».

* * *

.....

Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рытвины.

— Чтó это? — ремонт мостовой?

— Нет, это «Сочинения Розанова». И по железным рельсам несется уверенно трамвай.

(на Невском, ремонт)

¹ Вследствие этого (*лат.*).

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

* * *

Много есть прекрасного в России, 17 октября, конституция, как спит Иван Павлыч. Но лучше всего в Чистый понедельник забирать соленья у Зайцева (угол Садовой и Невск.). Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника — разложена на тарелках (для пробы). И испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити белых грибов на косяке двери.

И над дверью большой образ Спаса, с горящею лампадой. Полное православие.

И лавка небольшая. Все дерево. По-русски. И покупатель — серьезный и озабоченный, — в благородном подъеме к труду и воздержанию.

Вечером пришли секунданты на дуэль. Едва отделался.

В Чистый понедельник грибные и рыбные лавки первые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка в Чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского.

(первый день Великого поста)

* * *

25-летний юбилей Корецкого. Приглашение. Не пошел. Справили. Отчет в «Нов. вр.».

Кто знает поэта Корецкого? Никто. Издателя-редактора? Кто у него сотрудничает?

Очевидно, гг. писатели идут «поздравлять» всюду, где поставлена семга на стол.

Бедные писатели. Я боюсь, правительство когда-нибудь догадается вместо «всех свобод» поставить густые ряды столов с «беломорскою семгою». «Большинство голосов» придет, придет «равное, тайное, всеобщее голосование». Откушают. Поблагодарят. И я не знаю, удобно ли будет после «благодарности» требовать чего-нибудь. Так Иловайский не предвидел, что великая ставка свободы в России зависит от многих причин и еще от одной маленькой: улова семги в Белом море.

«Дорого да сердито...» Тут наоборот — «не дорого и не сердито».

(март, 1912 г.)

* * *

Из каждой страницы Вейнингера слышится крик: «Я люблю мужчин!» — «Ну что́ же: ты — содомит». И на этом можно закрыть книгу.

Она вся сплетена из *volò* и *scio*: его *scio*¹ — гениально, по крайней мере где *касается обзора природы*. Женским глазом он уловил тысячи дотоле незаметных подробностей; даже заметил, что «кормление ребенка возбуждает женщину». (Отсюда, собственно, и происходит вечное «перекармливание» кормилицами и матерями и последующее заболевание у младенцев желудка, с которым «нет справки».)

— Фу, какая баба! — Точно ты *сам кормил* ребенка или хотел его выкормить!

«Женщина бесконечно благодарна мужчине за совокупление, и когда в нее втекает мужское семя, то это — кульминационная точка ее существования». Это он не повторяет, а *твердит* в своей книге. Можно погрозить пальчиком: «Не выдавай тайны, баба! Скрой тщательнее свои грезы!!» Он говорит о *всех женщинах*, как бы они были все его соперницами, — с этим же раздражением. Но женщины великодушнее. Имея каждая своего верного мужа, они нимало не претендуют на уличных самцов и оставляют на долю Вейнингера совершенно достаточно брюк.

Ревнование (мужчин) к женщинам заставило его ненавидеть «соперниц». С тем вместе он полон глубочайшей нравственной тоски: и в ней раскрыл глубокую нравственность женщин, — которую в ревности отрицает. Он перешел в христианство: как и вообще женщины (св. Ольга, св. Клотильда, св. Берта) первые приняли христианство. Напротив, евреев он ненавидит: и опять — потому, что ^{они} _{они} суть его «соперницы» (бабья натура евреев — моя *idée fixe*).

* * *

Наш Иван Павлович — врожденный священник, но не посвящается. Много заботы. И пока остается учителем семинарии.

Он всегда немного дремлет. И если ему дать выдрематься — он становится веселее. А если разбудить, становится раздражен. Но не очень и не долго.

¹ Знаю (*лат.*).

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

У него жена — через 8 лет брака — стала «в таком положении». Он ужасно сконфузился и написал предупредительно всем знакомым, чтобы не приходили. «Жена несколько нездорова, а когда выздоровит — я извещу».

Она умерла. Он написал в письме: «Царство ей Небесное. Там ей лучше».

Так кончаются наши «священные истории». Очень коротко.
(за чаем вспомнил)

* * *

Мертвая страна, мертвая страна, мертвая страна. Все недвижимо, и никакая мысль не прививается.

(24 марта 1912 г., купив 3 места на Волковом)

* * *

У Нины Р-вой (плем.) подруга: вся погружена в историю, космографию. Видна. Красива. Хороший рост. Я и спрашиваю:

— Что самое прекрасное в мужчине?

Она вдохновенно подняла голову:

— *Сила!*

(на побывке в Москве)

* * *

Никогда, никогда не порадуется священник «плоду чрева». Никогда.

Никогда *ex cathedra*¹, а разве приватно.

А между тем есть нумизмат Б. (он производит себя от Александра Бала, царя Сирии), у которого я увидел бронзовую *Faustina jun.*, с реверзом (изображение на обратной стороне монеты): женщина держит на руках двух младенцев, а у ног ее держатся за подол тоже два — побольше — ребенка. Надпись кругом.

FECUNDITAS AVGVSTAE,

т. е.

ЧАДОРОДИЕ ЦАРИЦЫ.

Я был так поражен красотой этого смысла, что тотчас купил «Торговая монета», орудие обмена, в руках у всех, у торговков, проституток, мясников, франтов, в Тибуре и на Капитолии: и вдруг

¹ С кафедры (лат.).

Розанов В.

Р 64 Опавшие листья / Василий Розанов. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — 672 с. — (Non-Fiction. Большие книги). ISBN 978-5-389-24479-5

Василий Розанов — один из самых оригинальных русских философов и литературных критиков Серебряного века. Литературный труд был для него образом жизни, способом существования, ежедневным занятием и необходимостью. При этом Розанов никогда не пытался написать ничего собственно «художественного» и недоумевал, почему раньше никто не догадался писать вот так, просто, без всяких выдуманных героев, без изображения обстановки и обстоятельств, без погруженности в сюжет. Розанов создал уникальный жанр — «опавшие листья», сопоставимый разве что с современными онлайн-дневниками — блогами. Книга «Опавшие листья» (1913–1915) представляет собой отдельные записи мыслей и впечатлений, которые «текут непрерывно» и которыми автор в доверительной манере делится с читателями; их последовательность и образует сюжет.

В настоящее издание вошли также две другие значительные работы Василия Розанова: «Уединенное» (1911), где изначально возникает тип философствования, продолженный в «Опавших листьях», а также эссе «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1891), посвященное роману «Братья Карамазовы» и принесшее Розанову известность.

УДК 13
ББК 87.3(2)6

Литературно-художественное издание

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОЗАНОВ
ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Ответственный редактор Алла Степанова
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Мария Антипова
Компьютерная верстка Михаила Львова
Корректоры Наталья Бобкова, Иван Игнатьев
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 14.11.2023. Формат издания 60 × 88 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 41,16.
Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
пер. Партийный, д. 1, к. 25

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-NFB-33457-01-R